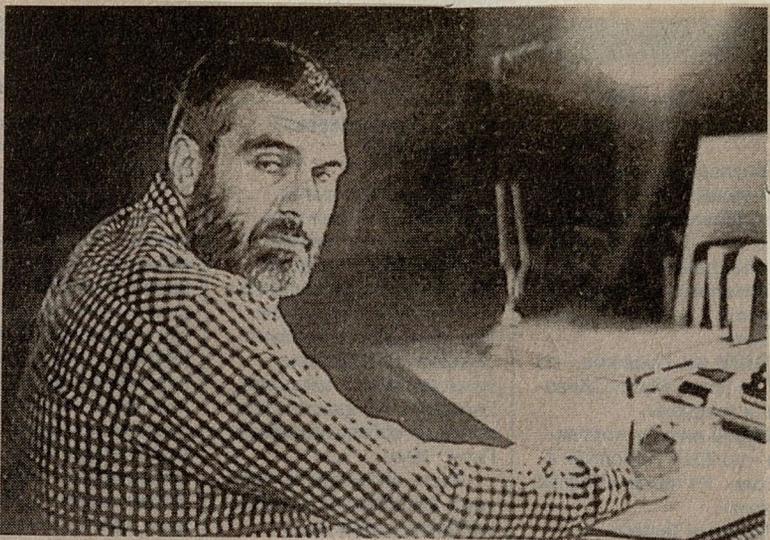


Осенью этого года в издательстве Российского Государственного Гуманитарного университета увидит свет книга правозащитника и публициста Вадима Белоцерковского «Путешествие в будущее и обратно. Повесть жизни и идей». «МН» публикуют содержащуюся в ней переписку с Сергеем Довлатовым, с которым автора связывали многолетние дружеские и профессиональные отношения



Нина Аловерт

Сергей Довлатов в Нью-Йорке

Как и когда я познакомился с ним очно, не помню. Скорее всего на «Свободе» в Нью-Йорке, где Довлатов подрабатывал внештатным «скриптрайтером» (создателем маленьких очерков), в том числе и для моих программ.

Но впервые я хорошо разглядел Довлатова, придя к нему в гости в Нью-Йорке, где он жил в скромном эмигрантском районе Квинс. Довлатов произвел на меня тогда двойственное впечатление: силы и какой-то скрытой за нею слабости. Он был крупным, высоким, слегка восточного вида человеком, и было сразу ясно, что это очень добрый человек с ярким характером. Не было в нем и в помине эмигрантской суевы, завистливости, мелкого болезненного самолюбия. И в то же время в его облике было что-то бомжовое, неблагополучное, и в глазах сквозила какая-то грусть-тоска.

И самое, пожалуй, важное: я понял по его беллетристике, что Довлатов, обладая замечательным талантом, не имел серьезных тем и сюжетов, а следовательно, не мог создавать и значительные образы. Подозреваю, что он и сам это чувствовал, и это было, наверное, главной причиной его неудовлетворенности жизнью. Он мне написал однажды:

«Что касается моего литературного самочувствия, то проблема известности меня, говоря без кокетства, не волнует (во что поверить невозможно! — В.Б.). Я бы, во-первых, хотел зарабатывать побольше, и то не для себя, в основном, а чтобы облегчить жизнь жене и детям, а во-вторых, я бы хотел написать что-то такое, от чего бы сам пришел в восторг. Все остальное несет в себе пародийно-эмигрантский оттенок». (Письмо от 7 апреля 1986 года)

Если бы Довлатов мог оставаться в России, если бы он там начал свой литературный путь и прошел бы по нему значительное расстояние, он мог бы выйти на крупные темы, сюжеты и образы, но начинать карьеру писателя в чужой стране — дело почти безнадежное. То, чего достиг Довлатов в Америке, — это, наверное, максимум возможного, и достичь этого можно было только с его талантом.

Живя по разным сторонам океана, мы с Довлатовым встречались нечасто и дружили в основном «путем взаимной переписки». Приведу наиболее интересные выдержки из писем Довлатова, которые лучше всего характеризуют его, а заодно и российскую эмиграцию.

18 ноября 1984 года:

«Вернемся к благородной теме холуйства. Для меня было совершенно очевидно, что люди уезжают на Запад с единственной целью: никогда не принадлежать ни к каким партиям, высказываться от собственного имени, совершать ошибки, каяться, снова их совершать. Вообще я считаю, что право на заблуждение — главная потребность творческого человека, иначе все захиреет и кончится. Человек, лишенный права на ошибку, — раб, а человек, добровольно лишившийся этого права, — хуже, чем раб, то есть шут и холуй. В Нью-Йорке таких сколько угодно.

К счастью, мне удастся зарабатывать на жизнь в качестве беспартийного строкогона, но если бы эта возможность пропала, я лучше бы стал государственным паразитом или сел

«Изгибаться я уже не в силах»

Макс Кобзон — 2003 — 7 апреля 03

(не в первый раз) на шею жене, но изгибаться я уже не в силах. С искривленным позвоночником можно дивно жить в Ленинграде».

7 декабря 1984 года:

«Что касается Солженицына, то желал бы поделиться одним ненаучным предположением. У меня сложилось ощущение, что в Европе его воспринимают как-то более серьезно, чем в Америке. Для Америки стало обиходным (как мне кажется) почтительно-насмешливое отношение к этому сердитому декоративному деду в сталинском кителе, который явно пошит на заказ. Все-таки я дружу с десятком американцев (славистов и переводчиков), так для них типична примерно такая интонация: «да, действительно, был такой потрясающий человек, имел гигантские заслуги, одурел на Западе, поучает, сидя в бункере, растрепал бородину, метит в Толстые, теряет аудиторию и смешит американских интеллектуалов». И т. д. И все-таки, Вадим, я никогда не забуду, что у меня в Ленинграде 10 лет висел над столом его портрет, вместе с фотографиями моей жены, Бродского и Фолкнера».

15 февраля 1986 года:

«Дорогой Вадим! Ничего не заставит меня вылезти из убежища глубокого пессимизма, тем более что жизнь этим настроениям способствует. Все мои западные книжки экономически провалились, новых контрактов не будет, переводчица снова родила и возится с младенцем, родители болеют. Я уже года два ощущаю, что со мной происходит что-то важное. И наконец понял, что именно. Когда меня лет двадцать не печатали, я бессознательно мог верить в свою неординарность и бессознательно же рассчитывать — вот напечатает, и все изменится. Сейчас все напечатано, высшей гениальности во мне не обнаружилось, никого и ни в чем убедить мне не удалось, газета, в которую я вложил лучшую часть души и остатки идеализма, провалилась, друзья (Вайль и Генис, к примеру) — надули, бросить журналистскую халтуру на радио я не могу, и так далее. К счастью, родился наш сынок + улучшаются, как ни странно, год от года мои отношения с женой. Вот куда-то сюда и передвинулся источник радости. Но я все еще не готов сместить эпицентр моих посягательств, перенести его с литературы на семью, природу, автомашину и даже на свободу. Короче, я продолжаю внутренне жить как недооцененный и замалчиваемый крупный литератор, будучи в действительности — сдержанно оцененным и не слишком крупным...»

20 сентября 1986 года:

«Дорогой Вадим, прости, что молчу. Настроение гнусное. Лето прошло в безделье, жратве, самобичевании — ничего не писал, кроме радиоскриптов, долги растут, творческие потенции вянут, агент мне перестал звонить,

«Кнопф» нового контракта не подписывает, правда, «Ньюйоркер» напечатал еще два рассказа (наверное, в пику Максиму)».

В Нью-Йорке все разобшены, заняты собой, ничего не происходит. Судя по всему, у вас в Европе жизнь куда более насыщенная. Сатира Войновича (среди прочего на Солженицына) не вызвала здесь абсолютно никакой реакции. Невозможно поверить, что пять лет назад самая мягкая, с бесчисленными почтительными оговорками, критика на Солженицына приводила к фигуральным и фактическим дракам. В частности, два неумных легковеса, Саша Глезер и Юра Штейн, кого-то били или пытались бить за неуважение к святыне.

Короче, я ушел в частную жизнь, получил в подарок трехмесячную таксу, назвал ее Яша, полное имя Яков Моисеевич — в честь А. Седыха, и решил ничего не писать, пока оно само не устремится наружу. А если не устремится, то и черт с ним, нечего тогда и огород городить.

Очень рад, что вы помирились с Владимовым. Ситуация с «Гранями» для меня совершенно ясна. В конфликте творческой личности с организационной я всегда буду на стороне творческой личности.

Кублановский и стихами, и лично, всегда вызывал у меня чувство неловкости. Всякое афишируемое православие мне неприятно. В его стихах много фальши, а в поведении — ханжества. Кроме того, молитвенное отношение к Солженицыну выглядит в Америке примерно так же, как восхищение Чапаевым или Щорсом — тот и другой фигуры трагические, но почему-то над ними все смеются.

Вадим, я очень уважаю тебя за то, что ты не теряешь запальчивости, по-прежнему деятелен и воюешь со злом. Я же решил сдаться, капитулировать.

Тем не менее, всех деятельных людей приветствую и обнимаю».

В ответ я написал Довлатову, что «завидую ему и уважаю его за жизненную силу, так как у меня не хватило бы сил жить, если бы я сдался».

Увы, не хватило их, видимо, и Довлатову. Вскоре после этого письма его не стало. Поначалу я даже подумал, что он покончил с собой. Говорили, что он опять начал пить и сердце однажды якобы не выдержало нью-йоркской душной жары. Может быть. Но в любом случае подкосила его, задушила эмигрантская среда. Довлатов был человеком с тонкой кожей и очень страдал от окружавшего его непотребства и жестокости.

Нужно было умереть Довлатову и пасть тоталитарному режиму в России, чтобы его произведения приобрели широкую известность. Ирония состоит в том, что сейчас его книги читаются куда больше, чем книги почти всех «классиков» эмиграции, которые смотрели на Довлатова сверху вниз и позволяли себе оскорблять его.

212